

Зигмунд Фрейд

ХРЕСТОМАТИЯ

Том 3

Изобразительное искусство
и литература

УДК 159.964.2
ББК 88
Ф 86

*Все права защищены.
Любое использование материалов данной книги полностью
или частично без разрешения правообладателя запрещается*

Перевод с немецкого
А. М. Боковикова

Фрейд Зигмунд

Ф 86 Хрестоматия: в 3 т. Том 3: Изобразительное искусство и литература. Пер. с нем. – М.: Когито-Центр, 2016. – 312 с.

ISBN 978-5-89353-470-2

УДК 159.964.2
ББК 88

Хрестоматия содержит наиболее востребованные в учебном процессе работы основоположника психоанализа З. Фрейда и представляет собой сокращенный вариант его классического десятитомного собрания сочинений, известного как «Учебное издание». Данный том полностью воспроизводит десятый том Учебного издания и посвящен психоаналитическому подходу к творчеству и личности творца.

© Боковиков А. М., 2009
© Когито-Центр, 2015

ISBN 978-5-89353-470-2

Содержание

Об этом томе.	7
Бред и сновидения в «Градиве» В. Йенсена (1907 [1906])	9
Детское воспоминание Леонардо да Винчи (1910)	87
Психопатические персонажи на сцене (1942 [1905–1906])	161
Поэт и фантазирование (1908 [1907])	169
Мотив выбора ларца (1913)	181
Моисей Микеланджело (1914)	195
Бренность (1916 [1915])	223
Некоторые типы характера из психоаналитической практики (1916)	229
Детское воспоминание из «Поэзии и правды» (1917)	255
Достоевский и отцеубийство (1928 [1927])	267
Премия Гёте (1930)	287
Приложение	
<i>Иллюстрации</i>	298
<i>Библиография</i>	305
<i>Список сокращений</i>	312

Бред и сновидения в «Градиве»
В. Йенсена
(1907 [1906])

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ИЗДАТЕЛЕЙ

Издания на немецком языке:

- 1907 Лейпциг и Вена, Хеллер. 81 страница. (*Schriften zur angewandten Seelenkunde*, Heft 1.) 1908 — переиздание без изменений с тем же титульным листом, но в новой обложке в издательстве Дойтике, Лейпциг и Вена.
- 1912 2-е изд. Лейпциг и Вена, Дойтике. 87 страниц (с «Дополнением»).
- 1924 2-е изд. без изменений в этом же издательстве.
- 1925 *G. S.*, т. 9, 271–364.
- 1941 *G. W.*, т. 7, 29–125.

Если не учитывать рассуждений Фрейда о «Царе Эдипе» и «Гамлете» в «Толковании сновидений» (1900a), в разделе Г (b) главы V, то это является первым опубликованным им анализом литературного произведения. Правда, он еще раньше написал краткий анализ новеллы «Судья» К. Ф. Мейера и послал его письмом от 20 июня 1898 года Флиссу (Freud, 1950a, письмо № 91).

От Эрнеста Джонса (1960, с. 402) мы узнаем, что внимание Фрейда на книгу Йенсена¹ обратил К. Г. Юнг и что Фрейд написал это эссе главным образом ради Юнга. Это было летом 1906 года, за несколько месяцев до того, как оба они познакомились друг с другом также и лично; таким образом, эссе явилось предвестником их продолжавшихся около шести лет дружеских отношений. Фрейд опубликовал его в мае 1907 года и несколько позже один экземпляр книжки направил Йенсену. В результате между ними возникла краткая переписка, на что указывается в «Дополнении» ко второму изданию (ниже, с. 84). Вклад Йенсена в переписку составляют три небольших письма от 13 и 25 мая и от 14 декабря 1907 года, которые в дальнейшем были перепечатаны в журнале «*Psychoanalytische Bewegung*», т. 1 (1929), 207–211. Тон писем в высшей степени дружественный, и создается впечатление, что Йенсен чувствовал себя польщенным тем, что Фрейд провел анализ его новеллы. По-видимому, он даже принял в общих чертах тол-

¹ Вильгельм Йенсен (1837–1911), друживший с Раабе северонемецкий писатель, автор прежде всего исторических романов и рассказов. В главе VI своего «Автопортрета» (1925d) Фрейд несколько пренебрежительно говорит о «Градиве» как «не особенно ценной самой по себе новелле».

кование. Так, он также уверяет, что не помнит того, чтобы ответил «что-либо резкое», когда ему, как сообщается ниже на с. 81, был задан вопрос (очевидно, Юнгом), знает ли он теории Фрейда.

Помимо более глубокого значения, выявленного в новелле Йенсена, Фрейд, без сомнения, испытывал интерес к местности, на которой разыгрывается ее действие. Помпеи интересовали его уже с давних пор, он часто упоминает их в своих письмах Флиссе (Freud, 1950a), пока, наконец, по прошествии многих лет, в сентябре 1902 года, он не увидел это место собственными глазами. В первую очередь Фрейд был очарован аналогией между исторической судьбой Помпей (их завалом и последующими раскопками) и душевными явлениями, с которыми он был хорошо знаком, — завалом путем вытеснения и раскопками посредством анализа. Йенсен сам указал ему на эту аналогию (с. 49), и Фрейду доставляло удовольствие разрабатывать ее как здесь, так и позднее в других контекстах.

Читая эссе Фрейда, необходимо иметь в виду, какое место оно занимает в хронологии его трудов. Это одна из самых ранних его психоаналитических работ. Оно появилось лишь через год после первой публикации сообщения о случае «Доры» (1905e) и «Трех очерков по теории сексуальности» (1905d). Мы обнаруживаем, что в обсуждение «Градивы» включено также и краткое изложение Фрейдом теории сновидения и, кроме того, возможно, первое из его научно-популярных описаний теории неврозов, а также терапевтического воздействия психоанализа.

ГЛАВА I

В кругу людей, считающих установленным, что самые существенные загадки сновидения были решены благодаря усилиям автора¹, однажды пробудился интерес обратиться к тем сновидениям, которые вообще никогда не снились, были созданы писателями и приписываются вымышленным персонажам во взаимосвязи повествования. Предложение подвергнуть исследованию сновидения этого рода может показаться праздным и странным; но с одной стороны его можно было бы представить оправданным. Ведь отнюдь не считается общепризнанным, что сновидение представляет собой нечто осмысленное и поддающееся толкованию. Наука и большинство образованных людей посмеиваются, когда им ставят задачу толкования сновидения; и только склонный к суевериям простой народ, продолжающий в этом придерживаться убеждений древности, не хочет отказываться от возможности истолковывать сны, и автор «Толкования сновидений» отважился вопреки возражению грозной науки принять сторону древних и суеверия. Правда, он далек от того, чтобы признавать в сновидении уведомление о будущем, к раскрытию которого человек с давних пор тщетно стремится всеми непозволительными средствами. Но и он тоже не мог полностью отбросить отношения сновидения к будущему, ибо по завершении изнурительной переводческой работы сновидение предстало перед ним как изображенное *исполненным желанием* сновидца, а кто будет оспаривать, что желания имеют обыкновение преимущественно обращаться к будущему.

Я только что сказал: сновидение — это исполненное желание. Кто не боится проработать трудную книгу, кто не требует, чтобы запутанная проблема для сбережения его усилий и за счет верности и правдивости была представлена ему простой и легкой, тот, возможно, в упомянутом «Толковании сновидений» отыщет подробное доказательство этого тезиса, а он дотоле должен оставить в стороне наверняка возникающие у него возражения против приравнивания сновидения и исполнения желания.

¹ Фрейд, «Толкование сновидений» (1900а).

Но мы забежали далеко вперед. Речь пока еще отнюдь не идет о том, чтобы установить, можно ли в каждом случае передать смысл сновидения через исполненное желание и нельзя ли точно так же часто его передавать через тревожное ожидание, намерение, размышление и т. д. Скорее, первым стоит вопрос, имеет ли вообще смысл сновидение, следует ли признавать за ним ценность душевного процесса. Наука отвечает «нет», она объявляет видение снов чисто физиологическим процессом, за которым, стало быть, не нужно искать смысла, значения, намерения. Телесные раздражители играли во время сна на душевном инструменте и доставляли в сознание то эти, то те представления, лишённые всякой душевной связности. Сновидения были бы сопоставимы с конвульсиями, а не с выразительными движениями душевной жизни.

В этом споре об оценке сновидения писатели, похоже, стоят на той же стороне, что и древние люди, суеверный народ и автор «Толкования сновидений». Ибо когда они заставляют видеть сны созданных их фантазией персонажей, то следуют повседневному опыту, что мышление и чувствование людей продолжают и во сне, и не стремятся ни к чему другому, кроме как изобразить душевные состояния своих героев с помощью их сновидений. Но писатели — ценные союзники, и их свидетельством следует дорожить, ибо обычно они знают много вещей между небом и землей, о которых наша школьная премудрость не может и мечтать. Даже в науке о душе они далеко опередили нас, обыкновенных людей, поскольку черпают тут из источников, которые мы для науки пока еще не открыли. Не было бы только это единое мнение писателей о наполненном смыслом характере сновидений неоднозначным! Ведь более резкая критика могла бы возразить, что писатель не выступает ни «за», ни «против» психического значения отдельного сновидения; он довольствуется показом того, каким образом спящая душа вздрагивает от возбуждений, крепко засевших в ней в качестве отголосков бодрствующей жизни.

Между тем наш интерес к тому, каким образом писатели пользуются сновидением, не уменьшился и вследствие этого протрезвления. Даже если в результате исследования ничего нового о сущности сновидений мы не узнаем, быть может, оно все же позволит нам под этим углом чуть лучше понять природу художественного производства. Правда, настоящие сновидения и без того сливуют необузданными и не подчиняющимися правилам образо-

ваниями, а тут еще вольные подражания таким снам! Однако в душевной жизни имеется гораздо меньше свободы и произвола, чем мы склонны предполагать; возможно, их нет вообще. То, что в мире вовне мы называем случайностью, в известной степени распадается на законы; также и то, что в душевном мире мы зовем произволом, основывается на — в настоящее время лишь смутно предполагаемых — законах. Итак, давайте посмотрим!

Для этого исследования имелось бы два пути. Первым было бы углубление в частный случай, в образы сновидения какого-нибудь писателя в одном из его произведений. Второй состоял бы в собирании и сопоставлении всех примеров использования сновидений, которые можно найти в произведениях разных писателей. Второй путь представляется гораздо более пригодным, возможно, единственно правомерным, ибо он сразу же избавляет нас от негативных моментов, связанных с принятием искусственного единого понятия «писатель». В ходе исследования это единство распадается на очень разных по значимости индивидуальных писателей, а в отдельных из них мы приучены почитать глубочайших знатоков душевной жизни людей. И тем не менее эти страницы заполнены исследованием первого рода. В том кругу людей, среди которых возникла эта инициатива, случилось так, что некто¹ вспомнил о том, что в поэтическом произведении, в конечном счете доставившем ему удовольствие, имелось несколько сновидений, в которых, так сказать, проглядывали знакомые ему черты и которые словно приглашали его испытать на них метод «Толкования сновидений». Он признался, что сюжет и место действия небольшого поэтического произведения, пожалуй, прежде всего были причастны к тому, что он испытал удовольствие, ибо история разыгрывается на земле Помпей и речь в ней идет о молодом археологе, променявшем интерес к жизни на интерес к остаткам классического прошлого, а теперь странным, но вполне корректным окольным путем вернувшимся к жизни. При обработке этого истинно поэтического материала у читателя пробуждается много родственного и созвучного. Поэтическим же произведением является небольшая новелла «Градива» Вильгельма Йенсена, которую сам автор характеризует как «фантазию на тему Помпей».

А теперь собственно говоря, я должен был бы попросить всех моих читателей отложить эту книжицу и на какое-то время за-

¹ [Это был Юнг; см. выше, на с. 11, предварительные замечания издателей.]

менить ее появившейся в 1903 году в книжной торговле «Градивой», чтобы в дальнейшем я мог сослаться на известное. Тем же, кто уже прочитал «Градиву», я хочу краткой выдержкой напомнить содержание рассказа и рассчитываю на то, что их память сама собой восстановит все стертое при этом очарование.

Молодой археолог, Норберт Ханольд, обнаружил в собрании древностей Рима рельеф, настолько его пленивший, что он был очень рад получить его превосходный гипсовый слепок, который мог повесить в своем рабочем кабинете в одном немецком университетском городке и с интересом его изучать. Рельеф изображает шагающую зрелую молодую девушку, поступь которой слегка приподняла одежду со множеством складок, в результате чего стали видны стопы ног в сандалиях. Одна стопа полностью покоится на земле, другая по инерции приподнялась над землей и касается ее только носком, тогда как подошва и пятка подняты почти вертикально¹. Изображенная здесь необычная и чрезвычайно прелестная походка, вероятно, привлекла внимание художника, а по прошествии столь многих столетий приковывает теперь взгляд нашего зрителя-археолога.

Интерес героя повести к описанному рельефному изображению — главный психологический факт нашего художественного произведения. Его нельзя объяснить сразу. «Собственно говоря, доктор Норберт Ханольд, доцент археологии, не находил в рельефе для своей науки ничего из того, что заслуживало бы особого внимания». («Градива», с. 3².) «Он не мог объяснить себе, что пробуждало в нем его интерес, разве что он понимал: что-то его притягивало и отныне это воздействие оставалось неизменным». Но его фантазия не перестает заниматься изображением. Он находит в нем нечто «сегодняшнее», как будто художник задержал на улице взгляд «на жизни». Он дает изображенной в движении девушке имя: «Градива», «шагающая вперед»³; он выдумывает, что она, несомненно, дочь из знатной семьи, возможно, «патрицианского эдила»⁴, исполнявшего свою службу от имени Цереры», и нахо-

¹ [См. иллюстрацию на с. 300.]

² [Помещенные в скобки номера страниц после «Градива» или «Г.» — ссылки на новеллу Йенсена «Градива» (1903). Другие номера страниц в тексте относятся к данному тому.]

³ [Происхождение имени еще более подробно разъясняется ниже, с. 48.]

⁴ [Чинovníк, выполнявший полицейские функции наведения порядка с ограниченной юрисдикцией и присматривавший за общественными зданиями.]

дится на пути к храму богини. Затем ему претит включать ее спокойный, тихий нрав в суету большого города, более того, он приходит к убеждению, что ее нужно поместить в Помпеи и что она шагает где-то там по вновь выкопанным особого вида булыжникам, которые в дождливую погоду позволяют посуху перейти с одной стороны улицы на другую и вместе с тем оставляют свободным проезд для колесниц. Форма ее лица кажется ему *греческой*, ее эллинское происхождение — несомненным; всю свою науку о древнем мире он постепенно ставит на службу этой и другим фантазиям, относящимся к прототипу рельефа.

Но затем ему навязывается якобы научная проблема, требующая разрешения. Речь для него идет о необходимости дать критическую оценку, «передал ли художник процесс ходьбы у Градивы сообразно жизни». Сам он не был способен воспроизвести его у себя; в поисках «реальности» этой походки он приходит теперь к тому, чтобы «для прояснения вопроса самому произвести наблюдения над жизнью». (Г., с. 9.) Но это заставляет его заняться совершенно непривычным для него делом. «Женский пол был для него лишь понятием из мрамора или бронзового литья, а своим современным его представительницам он никогда не уделял ни малейшего внимания». Пребывание в обществе всегда казалось ему лишь неизбежной мукой; юных дам, с которыми он там встречался, он так мало разглядывал и выслушивал, что при следующей встрече проходил мимо них, не здороваясь, что, разумеется, не выставляло его для них в благоприятном свете. Теперь же научная задача, которую он себе поставил, заставляла его в сухую, но особенно в ненастную погоду старательно созерцать на улице показывающиеся ноги женщин и девушек, и эта деятельность принесла ему несколько недовольных и несколько ободряющих взглядов со стороны тех, за кем он так наблюдал; «но одно точно так же мало доходило до его понимания, как и другое». (Г., с. 10.) В качестве результата этих тщательных исследований он вынужден был признать, что походку Градивы в действительности обнаружить нельзя, и это наполнило его сожалением и досадой.

Вскоре после этого ему приснился невыносимо тревожный сон, перенесший его в древние Помпеи в день извержения вулкана и сделавший его свидетелем гибели города. «Когда он стоял на краю форума рядом с храмом Юпитера, он вдруг увидел в незначительном отдалении от себя Градиву; доселе ему не приходила

мысль о ее присутствии здесь, но теперь она пришла к нему сразу и показалась естественной, ведь Градива была помпеянкой, жила в своем родном городе и, *о чем он не подозревал, в одно время с ним*». (Г., с. 12.) Страх за предстоящую ей судьбу исторг у него предостерегающий оклик, в ответ на который невозмутимо шагающее видение повернуло к нему свое лицо. Но затем оно беспечно продолжило свой путь к портику храма¹, уселось там на ступеньку лестницы и медленно опустило на нее голову, при этом ее лицо становилось все более бледным, словно превращалось в белый мрамор. Догнав ее, он нашел ее простертой со спокойным выражением, словно во сне, на широкой ступени, но затем дождь из пепла засыпал ее фигуру.

Когда он проснулся, ему казалось, что в ушах у него по-прежнему стоит беспорядочный крик ищущих спасения жителей Помпей и шум приглушенно грохочущего прибоя волнующегося моря. Но и после того как вернувшееся сознание распознало этот шум как пробуждающие ото сна жизненные проявления большого шумного города, он еще долгое время сохранял веру в реальность пришедшегося; когда, наконец, он избавился от представления, что сам почти две тысячи лет назад присутствовал при гибели Помпей, у него все же осталось чуть ли не полная уверенность в том, что Градива жила в Помпеях и там в 79 году была засыпана пеплом. Под воздействием этого сна его фантазии о Градиве нашли такое продолжение, что он стал теперь горевать о ней как о потерянной.

Когда, охваченный этими мыслями, он высунулся из окна, его внимание привлекла к себе канарейка, заливавшаяся своей песней в клетке в открытом окне дома напротив. Вдруг, похоже, еще не совсем пробудившегося ото сна героя пронизало нечто вроде толчка. Ему показалось, что на улице он увидел фигуру, как у его Градивы, и даже узнал ее характерную походку, он не раздумывая поспешил на улицу, чтобы ее догнать, и только хохот и насмешки людей над его неподобающим утренним одеянием заставили его вскоре снова вернуться в свою квартиру. В его комнате снова была поющая канарейка в клетке, которая его занимала и побуждала к сравнению со своей собственной персоной. Он тоже сидит, словно в клетке, подумал он, но все-таки ему покинуть свою клетку проще. Словно под дальнейшим последствием сновидения, возможно, также под влиянием мягкого весеннего воздуха у него офор-

¹ [Храма Аполлона].

милось решение совершить весеннее путешествие в Италию, для которого он вскоре нашел научный предлог, хотя «импульс к этому путешествию возник у него из некоего невыразимого ощущения». (Г., с. 24.)

На этом удивительно шатко мотивированном путешествии мы хотим ненадолго остановиться и поближе рассмотреть личность, равно как и побуждение нашего героя. Пока еще он кажется нам непонятным и безрассудным; мы не догадываемся, каким образом его особое безрассудство будет связано с человеческой слабостью, чтобы вынудить наше сочувствие. Оставлять нас в такой неопределенности — привилегия писателя; красотой своего языка, продуманностью своих мыслей он временно вознаграждает доверие, которое мы ему даруем, и симпатию, пока еще незаслуженную, которую мы держим наготове для его героя. О нем он пока сообщает, что тому уже семейной традицией уготовано стать исследователем старины, что в своем последующем одиночестве и независимости полностью погрузился в науку и полностью отвернулся от жизни и ее усад. Мрамор и бронза для его чувства были единственно реально живым, тем, что выражает цель и ценность человеческой жизни. Но, вероятно, с доброжелательным умыслом природа внесла ему в кровь коррективу совершенно ненаучного свойства — необычайно живую фантазию, которая могла заявлять о себе не только в сновидениях, но и зачастую в бодрствовании. Из-за такого обособления фантазии от мыслительной способности он должен был стать поэтом или невротиком, принадлежал к тем людям, которые не от мира сего. Поэтому с ним и могло случиться так, что его интерес застрял на рельефном изображении девушки со своеобразной походкой, что он опутал ее своими фантазиями, придумал ей имя и происхождение, поместил созданную им персону в более чем 1800 лет назад засыпанные пеплом Помпеи и в конце концов после удивительного страшного сна возвысил фантазию о существовании и гибели девушки, названной им Градивой, до бреда, оказавшего влияние на его поступки. Странными и непонятными показались бы нам эти проявления фантазии, встретить мы их у действительно живущего человека. Поскольку наш герой Норберт Ханольд — творение писателя, нам хочется адресовать последнему робкий вопрос, не была ли его фантазия обусловлена другими силами, нежели его собственным произволом.

Мы оставили нашего героя, когда его, видимо, пение канарейки подвигло отправиться в путешествие в Италию, мотив которого, очевидно, ему не был понятен. Далее мы узнаем, что цель и смысл этого путешествия также не были для него установлены. Внутреннее беспокойство и неудовлетворенность гонят его из Рима в Неаполь, а оттуда дальше. Он оказывается среди путешественников-новобрачных и вынужден общаться с ласковыми «Августом» и «Гретой», ощущает себя совершенно неспособным понять поступки и побуждения этой пары. Он приходит к выводу, что среди всех безрассудств людей «в любом случае женитьба — как нечто самое великое и непостижимое — занимает высшее место, а их бессмысленные свадебные путешествия в Италию в известной мере эту глупость венчают» (Г., с. 27.) В Риме из-за соседства нежной пары, нарушившей его сон, он вскоре сбегает в Неаполь, но лишь для того, чтобы снова там встретить других «Августа и Грету». Поскольку из их разговоров он заключает, что большинство этих пар голубков не собирается вить гнезда в осыпях Помпей, а направляет полет на Капри, он решает сделать то, чего бы они не сделали, и через несколько дней после своего отъезда «вопреки ожиданию и намерению» оказывается в Помпеях.

Но и там он не находит покоя, которого искал. Роль, которую доселе играли супружеские пары, беспокоившие его душу и обременявшие его помыслы, теперь берут на себя комнатные мухи, в которых он склонен видеть воплощение абсолютного зла и излишества. Те и другие мучители сливаются у него в одно целое; иные пары мух напоминают ему о путешествующих новобрачных, наверное, на своем языке тоже говорят «мой единственный Август» и «моя сладкая Грета». В конце концов он не может не признать, что «его неудовлетворенность вызывается не только тем, что находится вокруг него, но имеет свои истоки также и в нем самом». (Г., с. 42.) Он чувствует, «что недоволен, потому что чего-то ему не хватает, но не может прояснить для себя, чего».

На следующее утро при посредничестве «Ingresso»¹ он отправляется в Помпеи и после ухода гида беспорядочно бродит по городу, при этом, как ни странно, не вспоминая о том, что какое-то время назад во сне присутствовал при погребении Помпей под пеплом. Когда затем в «горячий, священный»² обеденный час,

¹ [Итальянская туристическая фирма. — *Примечание переводчика.*]

² [«Градива», с. 51].

который даже древние считали часом духов, другие посетители разбежались, а груды развалин опустели и, залитые лучами солнца, лежали перед ним, в нем пробудилась способность вновь погрузиться в жизнь, но не с помощью науки. «То, чему она учила, было безжизненным археологическим созерцанием, а то, что произносила, — мертвым филологическим языком. Она ничем не помогала понять душу, нрав, сердце, как бы это ни называли, а тот, кто носил в себе стремление к этому, должен был в качестве единственного живого человека одиноко стоять в жаркой полуденной тиши между остатками прошлого, чтобы не смотреть телесными глазами и не слушать материальными ушами. Тогда... мертвые пробуждались, а Помпеи начинали жить снова». (Г., с. 55.)

В то время пока он оживляет прошлое своей фантазией, он вдруг видит несомненную Градиву с его рельефа, выходящую из дома и легко и проворно шагающую по камням из лавы, перебираясь на другую сторону улицы, в точности такой, какой он видел ее во сне той ночью, когда она прилегла поспать на ступени храма Аполлона. «И вместе с этим воспоминанием ему впервые приходит в сознание нечто другое: он, сам не ведая о побуждении в глубине своей души, отправился в Италию и без остановки перебрался из Рима и Неаполя в Помпеи, чтобы выяснить, нельзя ли здесь обнаружить ее следов. Причем в буквальном смысле, ибо при ее особой походке она должна была оставить в пепле отличающийся от всех остальных отпечаток пальцев ног». (Г., с. 58.)

В этом месте напряжение, в котором до сих нас держал писатель, на мгновение усиливается до болезненного замешательства. Дело не только в том, что наш герой, очевидно, вышел из равновесия, но и в том, что мы сталкиваемся с появлением Градивы, которая до сих пор была изображением из камня, а затем — образом фантазии. Чем является галлюцинация нашего героя, сбитого с толку бредом, — «настоящим» признаком или живым человеком? Не в том дело, что мы обязаны верить в призраков, чтобы установить этот ряд. Писатель, назвавший свой рассказ «фантазией», пока еще не нашел все-таки повода нам разъяснить, оставит ли он нас в нашем мире, ославленном как рассудочный, где властвуют законы науки, или захочет привести нас в другой, фантастический мир, в котором призракам и духам приписывается реальность. Как доказывают примеры «Гамлета», «Макбета», мы без колебаний готовы последовать за

ним в таковой. Бред наполненного фантазиями археолога надо было бы в этом случае мерить по другой мерке. Более того, если мы задумаемся над тем, сколь мало правдоподобным должно быть реальное существование человека, который при своем появлении в точности повторяет то античное каменное изображение, то наш ряд уменьшится до альтернативы: галлюцинация или полуденный призрак. Небольшая деталь описания вскоре затем первую возможность вычеркивает. Большая ящерица неподвижно лежит под солнечными лучами, но затем убегает от приближающейся ноги Градивы и исчезает по лавовым плитам улиц. Стало быть, не галлюцинация, а нечто за пределами разума нашего сновидца. Но должна ли была реальность воскресшей суметь потревожить ящерицу?

Перед домом Мелеагра Градива исчезает. Мы не удивляемся, что Норберт Ханольд продолжает свой бред в том направлении, что Помпеи в час полуденных призраков вокруг него снова начали жить, а потому и Градива вновь стала живой и вошла в дом, в котором жила перед роковым августовским днем 79 года. Его осенили остроумные предположения о личности владельца, по имени которого, наверное, назван дом, и об отношении Градивы к нему; они доказывают, что его наука теперь целиком стала служить его фантазии. Войдя в этот дом, он вдруг опять обнаруживает видение сидящим на низких ступеньках между двумя желтыми колоннами. «На ее коленях было разостлано нечто белое, его взгляд не был способен четко различить, что именно; видимо, это был лист папируса...» Соответственно предположениям последней его комбинации о ее происхождении, он заговаривает с ней по-гречески, боязливо дожидаясь приговора, предоставлен ли ей в ее призрачном бытии дар речи. Поскольку она не отвечает, он переходит на латинский. И тут с улыбающихся губ слетает: «Если вы хотите со мной поговорить, то должны это сделать на немецком».

Какой стыд для нас, читателей! Итак, писатель посмеялся также над нами и, словно отсветом солнечного зноя Помпей, заманил нас в небольшой бред, чтобы мы менее строго судили несчастного, жарящегося на настоящем полуденном солнце. Но, оправившись от кратковременного замешательства, мы теперь знаем, что Градива — живая немецкая девушка, а именно это мы хотели от себя отбросить как самое невероятное. Мы можем теперь ожидать со спокойным ощущением превосходства, пока не узнаем, какие отношения существуют между девушкой и ее изображе-

нием в камне и каким образом наш молодой археолог пришел к фантазиям, указывающим на ее реальную личность.

Не так быстро, как мы, наш герой выбирается из своего бреда, ибо «когда вера спасала, — говорит писатель, — она повсюду мирилась со значительной суммой непостижимого» (Г., с. 140), и, кроме того, этот бред, вероятно, имеет корни в его внутреннем мире, о котором нам ничего не известно и которого нет у нас. В данный момент он ничего другого сделать не может, кроме как приспособить бред к только что обретенному чудесному опыту. Градива, погибшая вместе с засыпанными пеплом Помпеями, не может быть никем иным, кроме как полуденным призраком, возвращающимся к жизни в короткий час духов. Но почему после того данного на немецком языке ответа у него вырывается возглас: «Я так и знал, именно так звучит твой голос»? Не только мы, но и сама девушка должна так спросить, а Ханольд должен признаться, что голоса он еще никогда не слышал, но она могла услышать его голос тогда, в сновидении, когда он воскликнул, увидев, как она легла спать на ступеньки храма. Он просит ее сделать то же самое, что и тогда, но тут она поднимается, бросает на него странный взгляд и, сделав несколько шагов, исчезает между колоннами двора. Незадолго до этого перед ней несколько раз пролетала красивая бабочка; по его толкованию, это был посланец Аида, который должен был напомнить усопшей о ее возвращении, когда полуденный час духов истек. Вдогонку исчезающей Ханольд может еще послать возглас: «Ты вернешься завтра снова сюда в полуденный час?» Нам же, больше доверяющим теперь более рассудочным толкованиям, покажется, что в просьбе, которую адресовал Ханольд юной даме, та усмотрела нечто неподобающее и поэтому покинула его с обидой, поскольку она все-таки ничего не могла знать о его сновидении. Не была ли ее деликатность задета эротической природой просьбы, которая для Ханольда мотивировалась связью с его сновидением?

После исчезновения Градивы наш герой рассматривает все списки гостей, проживающих в гостинице «Диомед», а вслед за этим точно так же списки отеля «Швейцарец» и затем может себе сказать, что ни в одном из двух единственно известных ему мест проживания в Помпеях нельзя найти человека, который имеет хотя бы самое отдаленное сходство с Градивой. Само собой разумеется, он отбросил как абсурдную надежду действительно повстречать Градиву в одной из двух гостиниц. Вино, изготовленное на горя-

чей почве Везувия, помогает ему затем подкрепить упоение, в котором он провел целый день.

По поводу следующего дня было ясно только одно: в полуденный час Ханольд опять должен быть в доме Мелеагра, и, дожидаясь этого времени, он в нарушение установленных правил проникает в Помпеи через древнюю городскую стену. Увешанный белыми колокольчиками куст асфодила кажется ему достаточно многозначительным цветком подземного мира, чтобы сорвать его и взять с собой. Вся же наука о древности во время его ожидания кажется ему чем-то самым бесцельным и безразличным в мире, ибо им овладел другой интерес — проблема: «Какими свойствами должно обладать телесное явление такого существа, как Градива, которая была одновременно мертва и жива, пусть даже только в полуденный час духов» (Г., с. 80.) Он также боится сегодня не встретиться с той, кого ищет, потому что ей, может быть, позволено возвращаться лишь по прошествии долгого времени, и принимает ее появление, когда он поджидал ее снова между колоннами, за проделку своей фантазии, вырывающую у него болезненный взглас: «О, если б ты по-прежнему была и жила!» Но на этот раз он был явно слишком критичным, ибо явление обладает голосом, спрашивающим его, не хочет ли он подарить ей белый цветок, и втягивает вновь потерявшего самообладание героя в длинный разговор. Нам, читателям, которым Градива как живая личность стала уже интересна, писатель сообщает, что недовольство и отвержение, которые выражал ее взгляд день назад, уступили место выражению пытливого любопытства и любознательности. Она и в самом деле изучает его, просит его разъяснить замечания в прошлый день, когда он настаивал, чтобы она легла спать, таким образом узнает о сновидении, в котором она погибла вместе со своим родным городом, затем о рельефном изображении и о положении ступни, настолько пленившем археолога. Теперь она готова также продемонстрировать свою походку, при этом в качестве единственного отличия от прототипа Градивы устанавливается замена сандалий на светлые песочного цвета ботинки из тонкой кожи, которые она объясняет приспособлением к современности. Очевидно, она соглашается с его бредом, весь объем которого, нисколько не возражая, она вывела у него. Похоже, она один-единственный раз выходит из роли вследствие собственного аффекта, когда он, направив помыслы на ее рельефное изображение, утверждает, что

узнал ее с первого взгляда, поскольку в этом месте беседы о рельефе ей пока еще ничего не известно, должно быть, она не поняла слов Ханольда, но вскоре снова взяла себя в руки, а нам разве только покажется, будто иные из ее речей звучат двусмысленно, помимо их значения в связи с бредом, они подразумевают также нечто действительное и современное, например, когда она сожалеет, что тогда, на улице, ему не удалось встретить такую походку, как у Градивы. «Как жаль, наверное, тебе бы не понадобилось совершать сюда такое дальнее путешествие». (Г., с. 89.) Она также узнает, что ее рельефное изображение он называет «Градива», и сообщает ему свое настоящее имя — Зоэ. «Тебе очень идет это имя, но для меня оно звучит как горькая насмешка, ибо Зоэ означает жизнь». — «Нужно мириться с тем, чего изменить нельзя, — возражает она, — и я давно уже привыкла быть мертвой». Обещая снова встретиться с ним завтра на этом же месте в полуденный час, она с ним прощается, после чего просит его принести опять кустик асфодила. «Тем, кому повезло в этом больше, приносят весной розы, но для меня цветок забвения из твоих рук — самое подходящее». (Г., с. 90.) Грусть, пожалуй, приличествует так давно умершей, которая лишь на короткие часы возвращалась к жизни.

Мы начинаем понимать и ощущать надежду. Если юная дама, в образе которой вновь ожила Градива, с такой полнотой принимает бред Ханольда, то, наверное, она делает это для того, чтобы избавить его от бреда. Другого пути для этого не существует; возражениями такая возможность была бы закрыта. Да и серьезно лечить настоящее такое болезненное состояние нельзя иначе, кроме как вначале встать на почву бредового построения, а затем как можно полнее его исследовать. Если Зоэ — подходящий для этого человек, то, наверное, мы узнаем, как лечат бред, такой, как у нашего героя. Но нам хотелось бы также знать, как такой бред возникает. Было бы странным и этому все же нашлись бы примеры и параллели, если бы лечение и изучение бреда совпали, а разъяснение истории его возникновения было бы получено как раз во время его распада. Правда, мы подозреваем, что наш случай болезни мог бы тогда вылиться в «обычную» любовную историю, но правомерно ли пренебрегать любовью как целительным потенциалом в борьбе с бредом и не была ли увлеченность нашего героя имеющимся своим изображением Градивы настоящей влюбленностью, направленной, однако, пока еще на прошлое и безжизненное?

После исчезновения Градивы разве что еще раз в отдалении раздается словно хохочущий крик пролетающей над руинами города птицы. Оставшийся в одиночестве Ханольд поднимает с земли что-то белое, оставленное Градивой, не лист папируса, а альбом для зарисовок с карандашными рисунками разных тем из Помпей. Мы сказали бы: то, что в этом месте она забыла небольшую тетрадь, — залог ее возвращения, ибо мы утверждаем, что без тайной причины или скрытого мотива ничего не забывают.

Остаток дня приносит нашему Ханольду всякого рода удивительные открытия и констатации, которые он упускает объединить в единое целое. В стене портика, где исчезла Градива, сегодня он замечает узкую щель, которая все же достаточно широка, чтобы пропустить необычайно стройного человека. Он понимает, что Зоэ-Градиве не нужно погружаться здесь в землю, — это настолько противоречило бы здравому смыслу, что он стыдится этой теперь уже отброшенной веры, а пользуется этим путем, чтобы попасть в ее склеп. Ему кажется, что в конце улицы из могил перед так называемой виллой Диомеда растворяется легкая тень. В опьянении, как днем накануне, и занятый теми же проблемами, он слоняется теперь по окрестностям Помпей. Какими же телесными свойствами должна обладать Зоэ-Градива и можно ли было бы что-нибудь ощутить, если дотронуться до ее руки. Своеобразный порыв побуждает его задумать проведение этого эксперимента, и все же точно такая же сильная робость удерживает его от этого даже в своем представлении. На раскаленном от солнца склоне он встретил пожилого господина, который, судя по его экипировке, был зоологом или ботаником и, по видимому, был занят ловлей. Тот обернулся к нему, а затем сказал: «Уж не интересуетесь ли вы тоже *faraglione*? Едва ли бы я это заподозрил, но мне кажется весьма вероятным, что она обитает не только на Фаральонах у Капри, — если проявить терпение, то ее можно будет обнаружить и на материке. Способ, предложенный коллегой Аймером¹, действительно хорош; я уже не раз его применял с наилучшими результатами. Пожалуйста, прошу вас, замрите». (Г., с. 95.) Затем говоривший прервался и стал держать изготовленную из длинной соломины петлю перед трещиной в скале, откуда выглядывала переливающаяся голубишной головка ящерицы. Ханольд покинул охотника за ящерица-

¹ [Известный зоолог второй половины XIX столетия].

ми с критической мыслью, что за дурацкие и странные намерения могут побуждать людей к дальней поездке в Помпеи, разумеется, не включив в эту критику собственное намерение отыскать в пепле Помпей отпечатки стопы Градивы. Впрочем, лицо господина показалось ему знакомым, словно он мимоходом заметил его в одном из двух гостиных дворов, да и обращение было ему адресовано как знакомому. Во время его дальнейших блужданий окольный путь вывел его к ранее не обнаруженному им дому, оказавшемуся третьей гостиницей — «Albergo del Sole». Ничем не занятый хозяин воспользовался поводом, чтобы наилучшим образом отрекомендовать свой дом и хранящиеся в нем ценности, найденные при раскопках. Он утверждал, что тоже присутствовал, когда в окрестности форума обнаружили молодую пару влюбленных, которые, сознавая неизбежную гибель, крепко держали друг друга в объятиях и таким образом ожидали смерть. Об этом Ханольд уже слышал раньше и по этому поводу лишь пожимал плечами, считая это выдумкой какого-то рассказчика-фантазера, но сегодня речи хозяина пробудили у него доверие, которое сохранялось и дальше, когда тот принес покрытую зеленой патиной металлическую застезку, найденную в его присутствии в пепле рядом с останками девушки. Он приобрел эту застезку без каких-либо критических сомнений, а когда, покидая «Albergo», он увидел в открытом окне свисающую ветку асфодила, увешанную белыми цветами, вид могильного цветка словно упрочил его веру в подлинность своего нового приобретения.

Однако вместе с этой застезкой им овладел новый бред или, скорее, частично продолжающийся старый, — по-видимому, отнюдь не хороший предвестник для начавшейся терапии. Неподалеку от форума раскопали пару обнявшихся молодых влюбленных, а во сне он увидел Градиву как раз в этой местности у храма Аполлона, прилегшей поспать [с. 17–18]. Не могло ли быть так, что на самом деле она прошла еще дальше за форум, чтобы встретиться с кем-то, с кем потом вместе и умерла? Мучительное чувство, которое, пожалуй, мы можем приравнять к ревности, возникло из этого предположения. Он успокоил его, сославшись на сомнительность комбинации, и снова настолько оправился, что сумел поужинать в отеле «Диомед». Там его внимание привлекли два вновь прибывших гостя, Он и Она, которых из-за определенного сходства, несмотря на разный цвет волос, он принял за брата и сестру.

Они были первыми встретившимися в его путешествии людьми, к которым он испытал симпатию. Красная соррентийская роза, которую носила юная девушка, пробудила у него какое-то воспоминание, он не мог вспомнить, какое. Наконец он отправился спать и увидел сон; это был на удивление бессмысленный вздор, но, очевидно, смешанный из переживаний и событий дня. «Где-то на солнце сидела Градива, делала из соломины петлю, чтобы поймать ящерицу, и сказала по этому поводу: “Пожалуйста, замри — коллега права: способ действительно хороший, и она применяла его с наилучшими результатами”». От этого сновидения он еще во сне защитился критикой, что все это — полное сумасшествие, и ему удалось отделаться от сновидения с помощью невидимой птицы, которая издала короткий хохочущий крик и унесла в клюве ящерицу.

Несмотря на всю эту сумятицу, он проснулся скорее просветленным и окрепшим. Розовый куст, на котором рос тот вид цветов, какие он заметил вчера на груди юной дамы, напомнил ему, что ночью кто-то сказал: «Весной дарят розы». Он непроизвольно сорвал несколько роз, и, должно быть, с этим связалось нечто такое, что оказало на его ум раскрепощающее воздействие. Избавившись от своего страха людей, он отправился обычным путем в Помпеи, обремененный розами, металлической застежкой и альбомом для зарисовок, а также различными проблемами, касавшимися Градивы. Старый бред потрескался, он уже сомневался, не может ли она находиться в Помпеях не только в обеденный час, но и в другое время. Акцент сместился на часть, добавившуюся последней, а связанная с нею ревность мучила его в разного рода облициях. Он чуть было не пожелал, чтобы явление оставалось видимым только для его глаз и не было доступным восприятию других; ведь тогда он мог бы считать его своей исключительной собственностью. Во время блужданий в ожидании полуденного часа у него произошла неожиданная встреча. В «Casa del fauno» он натолкнулся на двух персон, которым хотелось считать, что в своем уголку они незаметны другим, ибо они обнимались, а их губы слились в поцелуе. С удивлением он узнал в них вчерашнюю симпатичную пару. Но ему показалось, что для брата и сестры их нынешнее поведение, объятия и поцелуи, было слишком долгим; итак, это все-таки была любовная пара, предположительно, юные новобрачные, опять Август и Грета. Как ни странно, теперь это зрелище не вызвало у него ничего, кроме симпатии, и робко, словно нарушив тайный молебен, он

незаметно удалился. К нему снова вернулось почтение, которого долго недоставало.

Когда он подошел к дому Мелеагра, им овладел страх, что он встретит Градиву в обществе кого-то другого, опять такой сильный, что он не нашел для явления иного приветствия, кроме вопроса: «Ты одна?» С трудом с ее помощью он приходит в себя и вспоминает, что сорвал для нее розы, признается ей в последнем бреде, что она была девушкой, которую нашли на форуме в любовных объятиях и которой принадлежала зеленого цвета застежка. Не без насмешки она спрашивает, не нашел ли он эту штуку где-то на солнце. Оно — названное здесь *Sole* — производит много разных вещей подобного рода. Чтобы избавить его от головокружения, в котором он признается, она предлагает ему разделить вместе с нею ее маленький завтрак и протягивает ему половину завернутой в шелковую бумагу белой булки, а другую половину с явным аппетитом съедает сама. При этом между губами сверкают ее безупречные зубы, а когда она надкусывает корку, они создают легкий хрустящий звук. На ее слова: «Мне кажется, будто однажды две тысячи лет назад мы уже ели так вместе хлеб. Ты этого не помнишь?» (Г, с. 118) — он не знал ответа, но то, что он подкрепил свой ум мучным изделием, и, кроме того, все предоставленные ею признаки реальности происходящего оказали на него свое действие. В нем заговорил разум и подверг сомнению весь бред, полуденный призрак; на это, правда, можно было возразить, что она только что сама сказала, что две тысячи лет назад делила с ним завтрак. В таком конфликте появилась мысль об эксперименте как средстве решения, который он провел с ловкостью и вновь обретенным мужеством. Левая ее рука с тонкими пальцами спокойно лежала на ее коленях, а одна из комнатных мух, нахальством и ничемностью которых он раньше так возмущался, уселась на эту руку. Внезапно рука Ханольда взметнулась вверх и с отнюдь не мягким шлепком опустилась на руку Градивы.

Этот смелый опыт принес ему двойной результат; прежде всего радостное убеждение, что он коснулся несомненно реальной, живой и теплой человеческой руки, но, кроме того, выговор, от которого он в испуге вскочил со своего места на ступеньке. Ибо с губ Градивы, после того как она оправилась от своего удивления, сорвалось: «Ты все-таки явно сошел с ума, Норберт Ханольд». Обращение по имени, как известно, лучший способ разбудить спящего или лунатика. Какие последствия имело произнесение его

имени, о котором в Помпеях он никому не сообщал и которым его назвала Градива, к сожалению, пронаблюдать было нельзя. Ибо в это критической мгновение появилась симпатичная пара влюбленных из «Casa del fauno», и молодая дама тоном радостного удивления воскликнула: «Зоз! Ты тоже здесь? И тоже в свадебном путешествии? Ведь об этом ты не написала ни слова!» От этого нового доказательства жизненной действительности Градивы Ханольд обратился в бегство.

Зоз-Градива тоже не самым приятным образом была удивлена непредвиденными гостями, которые, похоже, помешали ей в важной работе. Но быстро взяв себя в руки, она отвечает на вопрос беглой ответной речью, в которой дает подруге, но еще больше нам сведения о ситуации и посредством которой умело избавляется от молодой пары. Она поздравляет, но сама она не в свадебном путешествии. «Молодой человек, который только что удалился, страдает также странной игрой воображения, мне кажется, он думает, что в голове у него жужжит муха; во всяком случае, что в ней находится какое-то насекомое. По долгу службы я кое-что понимаю в энтомологии и поэтому при таких состояниях могу быть немного полезной. Мой отец и я живем в «Sole», у него тоже случился внезапный приступ и к тому же появилась хорошая мысль взять меня сюда, хотя я хотела проводить время в Помпеях за свой счет и не предъявляла к нему каких-либо требований. Я сказала себе: что-нибудь интересное я раскопаю, наверное, только здесь. Правда, на находку, которую я сделала, я имею в виду счастье встретить тебя, Гиза, я никак не рассчитывала». (Г., с. 124.) Но теперь она должна спешить, чтобы составить своему отцу компанию за солнечным столом. И, таким образом, она удаляется, представившись нам дочерью зоолога и ловца ящериц и во всякого рода двусмысленных речах ознакомив с замыслом терапии и другими тайными намерениями. Но направление, которое она выбрала, не было дорогой к постоялому двору «Солнце», где ее ждал отец, — должно быть, и ей показалось, будто в окрестности виллы Диомеда некая призрачная фигура разыскивает ее курган и исчезает позади одного из надгробных памятников, и поэтому она направила свои шаги, каждый раз чуть ли не вертикально ставя ступню, к улице из могил. Туда в своем смущении и смятении бежал Ханольд и непрерывно расхаживал взад и вперед по портику сада, озабоченный тем, как напряжением мысли покончить с остатками своей проблемы. Неопровержимо ясным ему стало одно: он совершенно бес-

смысленно и безрассудно верил в то, что общался со снова ожившей, более или менее материальной молодой помпеянской, и это отчетливое понимание своего помешательства, безусловно, являлось важным прогрессом на обратном пути к здравому рассудку. Но, с другой стороны, эта живая женщина, с которой и другие общались как с чем-то таким же материальным, как сами они, была Градивой, и она знала его имя, и чтобы решить эту загадку, его едва пробудившийся разум был недостаточно крепок. Да и душой он был недостаточно спокоен, чтобы показаться себе способным справиться с такой трудной задачей, ибо лучше всего для него было бы две тысячи лет тому назад оказаться засыпанным вместе с другими в вилле Диомеда, лишь бы быть уверенным в том, что он не встретит снова Зоэ-Градиву.

Между тем горячее желание снова ее увидеть боролось с сохранившимися у него остатками склонности к бегству.

Обогнув один из четырех углов пилона, он вдруг отпрянул. На разрушенной части стены сидела одна из девушек, нашедших свою смерть здесь, на вилле Диомеда. Но это была вскоре отвергнутая последняя попытка сбежать в царство безумия; нет, это была Градива, пришедшая, очевидно, подарить ему последнюю часть своего лечения. Она совершенно верно истолковала его первое инстинктивное движение как попытку покинуть место и убедила его, что ему не стоит бежать, ибо снаружи начался страшный ливень. Немилосердная девушка начала экзамен с вопроса, что он хотел сделать с помощью мухи на ее руке, он не нашел в себе смелости воспользоваться определенным местоимением, но задал, пожалуй, более важный, главный вопрос:

«Я был — как кто-то сказал — несколько не в уме и прошу прощения, что обошелся так с рукой — как я мог быть столь безрассуден, это мне непонятно, — но я также неспособен понять, как ее обладательница, выговаривая меня за мое безрассудство, могла назвать меня моим именем». (Г., с. 134.)

«Значит, твое понимание пока еще далеко не продвинулось, Норберт Ханольд. Однако здесь нет ничего удивительного, потому что ты давно меня к этому приучил. Чтобы снова получить этот опыт, мне не нужно было бы ехать в Помпеи, и ты мог бы подтвердить мне его на добрую сотню миль ближе».

«На сотню миль ближе; твоя квартира наискосок напротив, в угловом доме; на моем окне стоит клетка с канарейкой», — теперь открывается она все еще недоумевающему Норберту Ханольду.